



## Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

### Тютчев

Ключ к поэзии Тютчева дал Вл. С. Соловьев, и говорить о ней после знаменитого русского философа можно, только исходя из его основной идеи. Соловьев сказал, что никто глубже Тютчева не захватывал таинственной основы, «темного корня» бытия; он был поэт хаоса. И в этом невольно убеждаешься с первых же его стихотворений.

Тютчев слышал и видел в природе и в душе не одну только божественную организацию, стройный космос, — он чуял в них какое-то хаотическое волнение, мятеж, вечный Беспорядок. Еще не умолкла та борьба стихий, которая некогда, на заре мироздания, не успокоенная Божьим велением, потрясала вселенную. Мир еще не кончен, не готов, — быть может, в том и заключается его смысл и тайна, что он никогда и не будет закончен. Он не может забыть титанических революций своего прошлого. Они ждут его и в будущем — «последний час природы». И море, и небо, и суша постоянно грозят снова свергнуться в одну бесформенную и безобразную массу, в овидиевскую *rudis indigestaque moles*<sup>1</sup>. Не надо верить спокойной тишине и благообразности мира: под этой мирной пеленою, под зеленой тканью приветливых лужаек, «хаос шевелится». Вы идете по равнине жизни, и вы не знаете часто, где своим движением разбудите притаившееся чудовище хаоса. В глубоких недрах земли совершается вулканическая работа подземных сил, и когда они в диком торжестве произвола вырываются наружу, тогда сотрясаются человеческие города и человеческие души.

Проникающая бытие глухая трагедия и борьба негармонизованных возможностей особенно сильно ощущаются всякий раз, когда уходит солнце, когда нависает темная ночь. Филины и совы чувствуют себя хорошо под ее черной защитой, но челове-

ческие глаза предназначены для солнца и не приспособлены к ночи. И мы совсем не должны были бы знать ее мрака. С заката солнца и до восхода его мы, робкие дети мира, должны бы погружаться в сон. Горе неспящим, горе разбуженным, горе познавшим ночь! Ибо нет необходимости в том, чтобы мы знали ее, чтобы мы подслушали тайную беседу ее «демонов глухонемых», которой назначено происходить в отсутствие нашего сознания. Это необязательно, это для космических властелинов случайность, что мы узнали ночь. Мы нескромно и святотатственно зажгли свои искусственные огни, и бледный свет их еще более оттенил ее безнадежную темноту. Ночь не касается нас. И оттого матовый блеск ее луны производит на нас, ее непрошенных соглядатаев, впечатление чего-то холодного и чуждого, и оттого луна не только не освещает нам загадок жизни, но и придает им еще бóльшую таинственность, облакает их в нереальные одежды привидений. Недаром луна кажется для нас миром отжившим, и это так подходит к ней, чтобы именно в ее лучах дремал почивший Рим, безлюдно величавый, чтобы именно с нею сроднился его вечный прах. Рожденная в прошлом, древняя, как Рим, древнее его, ночь не касается нас.

И все-таки мы познали ее. Рожденные от солнца, от прометева огня, мы стали блуждать между солнцем и тьмою, между днем и ночью. И ночь испугала нас. Тютчев, глубже всех познавший ее, объяснил нам, почему страшна для нас ночь. В своих гениальных стихотворениях он раскрыл, что день, друг человека, исцеляющий его больную душу, этот благодатный день — не что иное, как блистательное златотканое покрывало, участливо накинутое богами над бездною мира. Ночью, когда наши глаза должны бы смыкаться, мировая Пенелопа распускает дневной ковер, сияющую ткань его парчи —

И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ней и нами:  
Вот отчего нам ночь страшна.

.....

Святая ночь на небосклон взшла.  
И день отрадный, день любезный  
Как золотой ковер она свила, —  
Ковер, накинутый над бездной.  
И, как виденье, внешний мир ушел...  
И человек, как сирота бездомный,  
Стоит теперь, и немощен, и гол,  
Лицом к лицу пред этой бездной темной.

Ночь не только испугала — она и умудрила нас, бодрствующих в неурочные часы, зрителей неосвященной стихии. Мы не разгадали тайны, но узнали, что тайна есть. И мы постигли, что ночь, с ее недоумениями и кошмарами, первее, старше дня.

Полночь говорит у Ницше, что мир глубок и глубже, чем это думал день<sup>2</sup>. Ночь раскрыла перед нами глубину мира и души. Жизнь для нас более понятна и объяснима не тогда, когда светит благословенное солнце: подождем, чтобы кончился день, обманчивый в своих светлых утешениях, и ночью мы узнаем правду. Тогда все яркое, живое, дневное почудится «давно миновавшим сном»: день превратится в сновидение и ночь — в реальность. И месяц, который днем едва брезжит в небе «туманисто-бело», во всей своей действительности загорается ночью:

Наступит ночь, и в чистое стекло  
Вольет елей душистый и янтарный.

Мир не тих, не мирен, он по существу своему трагичен, и лучше всего можно познать его в минуты роковые, в те чрезвычайные моменты, когда поднимается древний хаос. Когда мир и море спокойны, вы не узнаете их. Пусть разразится над ними хаотическая буря, и тогда они выдадут свои тайны. Вот почему в глазах Тютчева

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые:  
Его призвали Всеблагие,  
Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был  
И заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертье пил.

Истинный мир — это мир, как он расстилается в поздние часы, когда людские движения и речи умолкают и в наступившей тишине, в «безлюдии ночном», явственно слышится живой язык природы. Днем его нельзя услышать, потому что мы заглушаем его своими разговорами, — но вот наступает «всемирное молчанье», и слово принадлежит вселенной. Раздается безумное сетованье ночного ветра, и оно твердит нам о непонятной муке и взрывает в нашем сердце неистовые звуки; ночное небо угрюмо заволакивается со всех сторон, и «словно тяжкие ресницы разверзаются порою и сквозь беглые зарницы» вспыхивают над землей «чьи-то грозные зеницы». Тогда все обнажено, и воочию предстает нам сама космическая душа:

И в оный час явлений и чудес  
Живая колесница мироздания  
Открыто катится в святилище небес.

Ночью, мистической ночью, все принимает другой — не настоящий ли? — вид. И когда по Неве меж зыбью и звездой скользит челнок, то, может быть, это «дети праздной лени трагят здесь досуг ночной»; но может быть и то, что это «блаженные две тени покидают мир земной».

Между закатом одного дня и утром другого есть какой-то темный провал, черная бездна ночи. И Тютчеву кажется, что в этот промежуток раздается «чудный, еженощный гул».

Откуда он, сей гул непостижимый?  
Иль смертных дум, освобожденных сном,  
Мир бестелесный, слышный, но незримый,  
Теперь роится в хаосе ночном?

В самом деле: куда деваются человеческие дневные думы? И не прав ли поэт, что он их объективирует и слышит их ночную жизнь? Мир шумит от них, мир полон мыслью, и из волнения этих реющих дум рождаются новые высокие откровенья. И для самого Тютчева стихи слагались из этого еженощного гула, в который он так проникновенно вслушивался.

Но те же мысли, отслужив свою дневную службу и покинув нас ночью, когда они возвращаются на родное лоно мира, там сплетаются в прихотливые узоры сонных грез и в этом виде опять прилетают к нам; и так между сновидениями и думами, которые наполняют вселенную, протекает наша жизнь. Кругом нас сны, и трудно провести границу между сновиденьем и реальностью.

Об этом изумительно говорит Тютчев:

Как океан объемлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами.  
Настанет ночь, и звучными волнами  
Стихия бьет о берег свой.  
То глас ее: он нудит нас и просит.

Уж в пристани волшебный ожил челн...  
Прилив растет и быстро нас уносит  
В неизмеримость темных волн.  
Небесный свод, горящий славой звездной,  
Таинственно плывет из глубины,  
И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены.

В томительные часы физической и душевной бессонницы, после которой на старой и усталой голове тяготеет «вчерашний зной, вчерашний прах», — в эти ужасные считаемые часы, когда «сердце в нас подкидышем бывает», мы слышим

Часов однообразный бой,  
 Томительную ночи повесть,  
 Язык для всех равно чужой  
 И внятный каждому, как совесть.

Эти «глухие времена стенанья» — отзвук ужаса, хаоса, и в последнем узнали мы нечто свое, нечто родное и роковое. Поэтому человек и проникнут странной тревогой, и часто среди красоты отдыхающей вселенной слышит он страшные песни «про древний хаос, про родимый, и жадно мир души ночной внимает повести любимой». Прошлый хаос не прошел, он только дремлет, и есть для нас нечто жутко-пленительное и зовущее в том, чтобы слиться с его беспредельностью, разбудить его мрачные силы. Темные призраки ночи нашли мы и в собственной душе; мы почуяли в себе демонов. «Чуждое, неразгаданное ночное» оказалось самым близким для нас; мы постигли хаос в самих себе и должны были ужаснуться своей душевной ночи.

Познавший ночь, Тютчев увидел ее безумие, ее «Божий гнев». И в стихотворении *Mal'aria* он говорит, что даже любит сие незримо во всем разлитое, таинственное зло —

В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,  
 И в радужных лучах, и в самом небе Рима!  
 Все та ж высокая, безоблачная твердь,  
 Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,  
 Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,  
 Все тот же запах роз... и это все есть смерть.

Смерть в запахе роз, в теплом ветре, колышущем деревья, зло благоуханное — вот зерно хаоса, спрятанное в прекрасную и чарующую оболочку. Тютчев проникает в нее. Оттого ночная, трагическая стихия, «жизнь злая», открылась ему именно в том, что как будто составляет самое лучезарное и благодатное, самое дневное и доброе в мире: хаос увидел он в любви, т. е. в глубине и красоте, в основе человеческого духа. Любовь не только «союз души с душой родной», она — и «роковое их слиянье, их поединок роковой». В самой любви таится уже будущая вражда, разлука или измена, смерть или утомление. Матери нежней лелеял он тебя, свою возлюбленную, и сладок и тих был твой сон, но...

...Если бы тогда тебе приснилось,  
 Что будущность для вас обоих берегла,  
 Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась  
 Иль в сон иной бы перешла.

Девушка любила, но потом

Она сидела на полу  
 И груди писем разбирала,  
 И, как остывшую золу,  
 Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы  
 И чудно так на них глядела,  
 Как души смотрят с высоты  
 На ими брошенное тело.

Есть «кровный, не случайный» союз между любовью и самоубийством; они обворожают нас своей неразрешимой тайной и ужасны своим обаяньем. Но с любовью родственно не одно только самоубийство: есть связь между нею и убийством вообще, и Тютчев глубоко чувствовал эту смерть в самой любви, этот разлад в самом единении. Мы фатально обречены на то, чтобы любить убийственно. Мы убиваем то, что любим. В нашем любовном прикосновении таится гибель, и она поражает как раз то сердце, которое нашему сердцу всего милей. В страстных объятиях человека отцветает любимое, и слышит оно первое приближение конца. Рождаются дети, которые тоже будут любить и убивать, которые тоже будут любимы и будут убиты. И каждый скажет своей любви, своему цветку:

...мой бедный, бледный цвет, —  
 Тебе уж возрожденья нет;  
 Не расцветешь!

Ты сорван был моей рукой,  
 С каким блаженством и тоской,  
 То знает Бог!..

Разрушающая человеческая любовь — главное проявление нашей внутренней ночи, нашего духовного хаоса, и в этом ее убийственном свойстве мы воспринимаем отзвук того, что мир хотя и создан любовью, но правится не ею одной. На жизненный пир явилась и незваная Эрида<sup>3</sup>, и она мстит за то, что ее не позвали. Греческий философ признавал именно две мироправящие силы — любовь и ненависть, и в своей отравленной любви мы в самом деле ощущаем, что их — две...

Но характерно для Тютчева, что, познав ночное, хаотическое, мрачное, так далеко проникнув в темную обитель корней и подслушав злое соглашение демонов, он сам остался все-таки лучезарен и чист. Ночь не объяла его. В этом заключается его своеобразие, и этим представляет он знаменательный контраст Достоевскому, который тоже сердцем своим жил ночью и видел лицом к лицу ее тревоги и тайны. Но Достоевский из своей крошечной ночи вышел темный, Тютчева ночь оставила светлым. Вся жизнь его прошла под «кротким, благостным влиянием» Жуковского, — казалось бы, столь неподходящего для настроений хаоса; и кроткой была его поэзия, хотя и соприкоснувшаяся демоническому началу жизни. Его целомудренная лирика сохранилась нежной и доверчивой, и он мог бы к собственной музе отнести те слова, которые он высказал о графине Ростопчиной<sup>4</sup>:

И страстно песнь ее звучала,  
 Пленяя души и сердца —  
 Она Бетховена играла  
 И... доиграла до конца.

Счастье, которое достается немногим, — доиграть Бетховена до конца — выпало вполне на долю Тютчева, и он навсегда удержал для своей лиры музыкально-чистый звук. «Он стройно жил, он стройно пел». Может быть, это объясняется тем, что Тютчев своею ночью не болел. Она только опажнула его черными крыльями, но не проникла в него как драма, как отчаяние. Вероятно, душевная организация Тютчева не была благоприятна для того, чтобы в ней прочно гнездилась трагедия хаоса и тьмы. И потому на «бунтующее море» льет у него поэзия «примирительный елей». И потому хотя он знал зловещую сторону любви, но сам любил нежно, рыцарски, упоенно, и в самой страсти, глубокой и серьезной, сохранял он то благородство и умиление, которые вообще свойственны его поэзии. Говоря о женщине, он находит слова изысканно-прекрасные, комплименты чарующие, — он вспоминает «воздушный шелк ее кудрей», или «этот длинный тонкий волос, едва доступный пальцам фей», или этот «локоть белый», который «подпирает много милых, сонных дум»; или же он находит слова ласковые и трогательные, какие расточает и на свою дочь, на свое «родимое дитя». Он испытал и благодарно славит не только первую, но и последнюю любовь, не только первый, но и последний поцелуй. И то, что о своей любви он рассказал, производит волнующее впечатление; в стихах оставил он неизгладимые следы

своей сердечной драмы; он пережил свою возлюбленную, но от горшего горя, которого он боялся, освободила его судьба: не тупой тоскою тосковал он по ушедшей женщине, и небо услышало его молитву, дало ему «жгучего страданья», дало ему «живую муку» — «по ней, по ней, свой подвиг совершившей», «по ней, по ней, судьбы не одолевшей», «по ней, по ней, так до конца умевшей страдать, молиться, верить и любить». Вообще, замечательно, что сквозь его космические мотивы, не заглушая их, все время слышится какая-то личная исповедь, живая лирика очень содержательного и страдающего сердца.

Итак, свидетель ночи, поэт хаоса, мудрец безумия, Тютчев в то же время страстно любил космос в его ласкающих, лазоревых проявлениях; его пленяла майская идиллия мира, — весна, «бездействие глубокое» созерцающей души, «тысячи и тьмы первых листьев», «роскошный Генуи залив», южное солнце, под лучами которого он «заслушивался пения великих средиземных волн», и в упоении восклицал он: «О этот юг, о эта Ницца!» Север называл он сновидением безобразным, и в родных местах его молодость, его детский возраст смотрели на него чуждо, «как брат меньшей, умерший в пеленах»; его южная душа тосковала по тем краям, где «лавров стройных колыханье зыблет воздух голубой». Он радостно следил за победой солнца над темнотою ночи, когда «дымно-легко, мглисто-лилейно» оно порхает в окно и затем все увереннее и определеннее разгорается «животрепетным сияньем». Глубоко чувствуя трагические тени в природе, он все-таки тешил себя ее мирными картинками, ее *Stilleben*\*, ее очаровательной радугой, которая «полнеба охватила и в высоте изнемогла». Видя смерть и ее неуклонное приближение («кто смеет молвить: до свиданья! — чрез бездну двух или трех дней?»), часто говоря о скоротечности жизни, он все-таки благословляет новых, молодых «гостей», садящихся «за уготованный им пир»:

Когда дряхлеющие силы  
 Нам начинают изменять,  
 И мы должны, как старожилы,  
 Пришельцам новым место дать,

Спаси тогда нас, добрый гений,  
 От малодушных укоризн,  
 От клеветы, от озлоблений  
 На изменяющую жизнь.

---

\* натюрморт (нем.). — *Примеч. ред.*



Он знает, что «так легко не быть», и печально примиряется с этим. Осень вызывает в нем умиленное участие, и он любит в ней «кроткую улыбку увяданья»; в своих «Листьях» он сочувственно воспроизвел ритм осеннего ветра в «полураздетом» лесу. Увядающее мило ему, и он напутствует его грустной улыбкой.

Это имеет свои корни в том, что Тютчев свято верует в одушевленность природы, которая не умирает, и в свое конечное слияние с ней. Человек наравне с природой сладостно и мучительно вспоминает древний хаос; между ночью мира и ночью души есть глубокая связь — днем же и тот, и другая успокаиваются и светлеют. Значит, каждому душевному настроению должно быть непременно соответствие в природе, каждая дума и каждое чувство имеют в ней свой отзвук. Для Тютчева жизнь сердца и жизнь вселенной образуют стройное созвучие, великую и вечную рифму. Тем глубже и трагичнее те временные диссонансы, тот разлад между человеком и природой, в силу которого «в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник». Но эта двойственность, как ни фатальна она, какую трудную и страшную задачу, основную проблему природы и культуры, она ни составляет, должна и может быть преодолена, потому что она — только факт, а не необходимость, и навеки неизменной останется для Тютчева истина, что «дума за думой, волна за волной — два проявленья стихии одной».

Вся жизнь — рифма к природе. Поэтому в знаменитом стихотворении-молитве летнему жару и зною, когда бедный нищий бредет мимо сада по жаркой мостовой, соответствует жизненная тропа, по которой бредет обездоленный. Поэтому лени соответствует полдень, когда «сам великий Пан в пещере нимф спокойно дремлет», а душное молчание воздуха, предчувствие грозы, отвечает волнению молодой девушки, которая замирает в истоме проснувшейся первой любви. Поэтому неожиданная ласка природы, позднее, неуходящее лето похоже на «молодую улыбку женских уст и глаз», которая, «не восхищая, не прельщая, под старость лишь тревожит нас». И судорожный трепет пробежит по кипарисным ветвям, когда к ним приблизятся люди с мятежным жаром в душе, девушка может превратиться в мотылька, и, когда она спрячется в цветах, ярче и ароматнее станут розы. И слезы людские, которые льются ранней и поздней порой, льются безвестные, неистошчимые, неисчислимые, — эти слезы льются, «как струи дождевые в осень глухую, порою ночной».

Это неизменное соответствие духа и природы у Тютчева не придумано, не сочинено, и аналогия является такой естественной и простой, образы и олицетворения как бы приходят сами собою. Для кого природа «не слепок, не бездушный лик», тот чувствует ее в каждом проявлении частного — между прочим, и человеческого — бытия. А Тютчев больше, чем все поэты, знал и верил, что природа жива, что она имеет душу и даже празднует с людьми воскресенье. Он чуял в мире какую-то незримую длань и незримую пяту. Не садовник приклеил лист и цветы на дереве, не игрою внешних, чуждых сил зреет плод в родимом чреве. Как бы некая живая женщина природы осязательно сопутствовала Тютчеву в его мыслях, и он с чудной, смелой образностью представлял себе не только ее душу, но и внешний облик ее. Он говорит об ее усталости, о ее лихорадочных грезах — кустарнике и мхе, о сладком трепете, который как струя

По жилам пробежал природы,  
Как бы *горячих ног* ее  
Коснулись ключевые воды.

И день у него восходит по лестнице, солнце глядит «исподлобья», «вечер пламенный и бурный обрывает свой венок». У звезд — «влажные главы», которыми они и приподнимают небесный свод. И если он чаще и настойчивее всех поэтов упоминает о погоде, то это потому, что она для него не бесцветный фон дневных забот, а важное событие общемировой жизни, которое непременно отражается в индивидуальной душе. Только люди-кроты не видят и не слышат, «живут в сем мире, как впотьмах» и не понимают, что в природе «есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык»:

Не их вина: пойми, коль может  
Органа жизнь глухонемой!  
Увы, души в нем не встревожит  
И голос матери самой!

Самое страшное в судьбе глухонемого — то, что он не может слышать своей матери.

В этой всеединой жизни естества Тютчев готов раствориться, и дальше ее, и отдельно от нее ему идти не нужно. Он не в силах скрыть своего пристрастия к матери-земле, он — верный сын ее, и не привлекают его утехи рая, духи бесплотные.

В личной утрате его утешает зрелище общего жизненного потока. Это очень существенно, что он не верит в индивидуаль-

ное бессмертие и не дорожит им. Быстро увядает человек, «сей знак земной», — но ведь «с новым летом — новый знак и лист иной». «При мне иль без меня — что нужды в том». Тютчев называет человека игрой и жертвой жизни частной и зовет его ринуться в животворный океан вечно юной, неумирающей природы. В весенний ледоход одна льдина за другую стремятся в море и, несмотря на свои частные различия, сливаются в одной общей стихии, в одной братской колыбели-могиле<sup>5</sup>:

Все вместе — малые, большие,  
Утратив прежний образ свой,  
Все безразличны, как стихия,  
Сольются с бездной роковой!

О, нашей жизни обольщенье,  
Ты — человеческое я!  
Не таково ль твое значенье,  
Не такова ль судьба твоя?

В сонном сумраке он именно хочет «вкусить уничтоженья», пантеистически смешаться с миром дремлющим. «Все во мне, и я во всем».

Эта природа, на лоно которой мы все вернемся, примет нас, блудных сыновей, недолгих носителей индивидуальности, и она забудет о нас и рассеет мираж нашего я; смутно чувствуется, что мы сами — только ее сновидения:

Поочередно всех своих детей,  
Свершающих свой подвиг бесполезный,  
Она равно приветствует своей  
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Этот пантеизм не ведет к отчаянию, но и радости в нем тоже нет. Глубоко проникнут Тютчев сознанием, что отдельные личности — пустые марева, которые бесследно проходят одно за другим в мгlistых промежутках времен. Замечательно, что он часто употребляет слова *дым*, *дымный* (а также эпитет *тусклый*); очевидно, его разуму сопутствует идея призрачности; недаром поспешил он на тургеневский «Дым» отозваться стихотворением того же названия; «дым один, как пятая стихия», «дым за дымом, бездна дыма тяготеет над землей», «грустно тлится жизнь моя и с каждым днем уходит дымом», «наша жизнь — тень, бегущая от дыма» — это немногие примеры и проявления той роли, какую в творчестве Тютчева играет понятие дыма. И вещей, зловещий смысл имеет эта космогоническая мысль: «дым — пятая стихия». Мы, люди, — дети по пре-

имуществу *этой* стихии. Оттого мы только и делаем, что исчезаем<sup>6</sup>. Природа же сама по себе, в ее целом, природа надличная — вся в настоящем разлита; она не имеет памяти; и мы тоже приобщимся к этому вечному настоящему, когда умрем, когда сольемся с жизнью вселенной.

Природа вся — в настоящем. Во всяком случае, теперь она молчит о днях былых — «с улыбкою двусмысленной и тайной». Так много хочется спросить у мира, например хоть у этой пустынной реки или у прибрежной дубровы: они были сверстницами и очевидцами былого. И многое мог бы рассказать мир, он много видел, — но он молчит. И это молчание было бы совсем безнадежно, если бы между нашей пытливостью, между «разумным гением человека» и «живой силой естества» не было глубоко заложенной *связи*. Человек проник в эту связь.

Колумб довершил судеб неконченное дело — он завесу раторг всесильною рукой и вынес за собою новый мир, неведомый, неожиданный. Вообще, надо лишь человеку сказать заветное слово, —

И миром новым естество  
Всегда откликнуться готово  
На голос родственный его.

Значит, в недрах вселенной таятся еще неведомые миры, и они ждут только заветного, родственного слова, чтобы явиться нашему взору. Еще много Америк поджидают своих Колумбов. И даже после Слова, быть может, не все еще слова сказаны из тех, которые способны вызывать из мировой беспредельности таящиеся в ней страны.

Из немногих избранных такое слово суждено было сказать именно Тютчеву, и оно открыло новые области духа. Он как бы пришел к самому краю, к загадочному первоисточнику вселенной, он остановился у самых границ доступного миропонимания и нашел такие слова, которые составляют предел того, что вообще может сказать человек о мире и о себе. Дальше начинается уже иная область, уже нечеловеческое слово. Если и эта мысль, поднявшаяся на такую беспримерную высоту, преломлена «незримо-роковою дланью» и опять свергается на землю не в виде самой истины, а лишь как брызги ее, как «огнецветная пыль» фонтана, то это уже не вина Тютчева — это уж скрывается общий закон для «неистошцимого водомета смертной мысли» (излюблены для нашего поэта вид и символ фонтана и «влажный дым» его). И при этом естественном ограничении от его маленькой книжки все равно проникло в русскую филосо-

фию и поэзию такое величие мысли и мистики, что в истории нашей умственной культуры она пройдет глубокой бороздой.

Правда, со своих идейных вершин Тютчев не раз спускался в низины общественной партийности.

Он как бы считал Христа русским, он приписывал России, которую в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя, не временную, не историческую, а мировую роль, и это бы, конечно, не нарушало его чистой, бетховенской игры, — напротив, глубоко растрогивают у него «эти бедные селенья, эта скудная природа». Но Россия космическая и христианская часто превращалась у него в предмет обыкновенной националистической политики; и он воспевал тот самый «коран самодержавия», который, по его же словам, «развратил» декабристов. Тем не менее история литературы именно потому забудет эти патриотические заурядности Тютчева, что она помнит его духовную высоту. Несомненно еще и то, что иногда он умел делать политику поэтичной; например, стихотворение «Море и утес», где он тешит себя надеждой, что волна 1848 года вновь присмирится и «без вою и без бою под гигантскою пятою вновь уляжется она», — это стихотворение, при всей общественной непривлекательности своего замысла, в художественном отношении очень высоко. И кроме того, было бы неправильно думать о Тютчеве, что он был груб и прямолинеен в своем консерватизме, что он не чувствовал русской неправды. На самом деле он знал про все эти «рубцы насилий и обид»; он знал, что в России человек не живет яркой человеческой жизнью, а только «снится сам себе». Тютчев колебался, не был убежден в том, что на своей лире патриота берет верные звуки; например, о декабристах он сначала говорит нечто нелепое и несправедливое, — будто народ поносит их имена<sup>7</sup>, будто их память схоронена для потомства, как труп в земле; но в этом же стихотворении трогательно выступает образ героев — пускай безрассудных, — которые хотели своей «скудной кровью растопить вечный полюс»,

И эта кровь, дымясь, сверкнула  
 На вековой громаде льдов,  
 Зима железная дохнула, —  
 И не осталось и следов!

Наше время знает, какие глубокие и чистые следы оставила эта драгоценная, а не скудная кровь. Но важно не то, что Тютчев оказался, к счастью, дурным пророком, а то, что и сам он своей поэтической укоризной воздал декабристам величайшую хвалу. Ибо может ли быть задача более идеальная, подвиг более

благородный в своей безумности, чем растопить собственной горячей кровью вечный полюс мертвенного льда?

Некоторая двойственность в оценке России, ее довольных и ее недовольных, может быть, находится в связи с тем, что колебание вообще характерно для Тютчева, выбиравшего между ночью и днем. Часто день жег ему глаза своей багровостью, своим пышным золотом, крикливостью своей окраски, — и тогда он хотел ночи или, по крайней мере, сумерек. Но и солнце влекло его своими лучами, «полным блеском проявлений», и, хотя страсти, ночные чада хаоса, волновали его страдальческую грудь, все же душа его была «готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». Волна морская, конь морской были дороги ему и покоясь, и играя — все равно:

Ты на солнце ли смеешься,  
Отражая неба свод,  
Иль мятешься ты и бьешься  
В одичалой бездне вод, —

Сладок мне твой тихий шепот,  
Полный ласки и любви;  
Внятен мне и буйный ропот,  
Стоны вещице твои.

В своих тревожных колебаниях между днем и ночью он любил оставаться один, — люди мешали ему, автору *Silentium*'а, звуки и шумы тревожили его. Мог ли он в таком случае верно различать и расценивать шум политических волнений? Есть у него глубокое духовно-аристократическое презрение к толпе, к «дольнему чаду», к «бессмертной пошлости людской»; хочется замкнуть молчанием душу и жить в своем внутреннем святилище, в Элизиуме теней, среди таинственно-волшебных дум; хочется быть звездой, и даже звездой не вечерней, а дневной, когда никто ее не видит и можно гореть незаметным для других сияньем. Это не легко дается, потому что пошлость насильничает и от восторженных порывов снова отрывает нас для вялых снов и мысль наша, «как подстреленная птица, подняться хочет и не может»: подрезаны ее гордые крылья. «Жаждет горних наша грудь», но мы — «ничтожная пыль», которой не дано различить в небе иной, «звездной пыли», и не нам суждено дышать божественным огнем; мы тлеем, а не горим.

Примирение между днем и ночью, между космосом и хаосом, между тишиною одинокой человеческой души, с ее воспоминаниями и тенями, и пестрым шумом окружающего челове-

чества не идет у Тютчева в пушкинскую наглядность, в ясную и простую глубь.

Не с этим ли в связи находится и то, что он труден для понимания и стихи его в чужую мысль внедряются не сразу? Удивительны его проникновенные взгляды в глубину вещей, его сопричастность трагедии и тьме, — но как ночь необязательна, так необязателен и он. Стихи его задушевные, нередко отличаются дорогой неотделанностью, бесспорно подтверждая свидетельства его биографов, что он не был специалистом поэзии, служителем ее высокого ремесла, и беспечно, с какою-то прекрасной небрежностью ронял свои поэтические откровения; стихи его полны оригинальных словосочетаний, а самое главное — его прозрения и догадки гениальны, его идеи — вершина человеческой мысли. И все же — как поэт он не велик величием простоты, у него еще не пройден всецело и осязательно тот кругооборот, который от явления ведет к идее, а от идеи — обратно к понятому и просветленному явлению; еще не достигнута мудрая непосредственность, высший разум красоты. И потому Тютчев — для немногих. Великое, как солнце, существует для всех.

1905

